



Александр БОРЩАГОВСКИЙ

# Король и шут

Экран и сцена. 2000. - янв. - февр. (№ 3). - с. 6 - 7

Так уж сложилось, что последние роли великий Зускин сыграл не на родной сцене Малой Бронной, а в нескольких от нее кварталах, — на Лубянке, в преступных кабинетах Старой Площади, в костоломных допросных узилищах, в смертной, свинцового чекана мизансцене Суда, украшенной тремя парами золотых погон: генерал-полковника, двух генерал-лейтенантов и сатаны в штатском, — он же "гадкий портняжка", недавний профвождь всех революционных швейников страны — Шкирятов...

Чем не шекспировский финал?! Только текст роли для Вениамина Зускина сочинял не автор "Короля Лира", не кто-нибудь из драматургов, доставленных на допрос из Бутырок или Лефортово, а подполковник Рассыпнинский Анатолий Филиппович, числившийся среди сослуживцев, едва ли не в интеллигентах.

В мае 1952 года, в начале не следственных, а судебных допросов, Зускин перечерчивает все прежние свои показания, все, как он выразился, "подписанное моей собственной рукой". "Через несколько дней после ареста, — сказал он, — меня вызывает министр государственной безопасности Абакумов и задает мне ряд вопросов... Он спрашивает меня об одном человеке, и то, что было мне известно, я рассказал. Через день в здании ЦК партии, в кабинете Шкирятова состоялась очная ставка, на ней присутствовали: министр государственной безопасности Абакумов, Шкирятов, то лицо и я... Все, что мне было известно об этом лице, я сказал, хотя все это опровергалось этим лицом. Мне министр потом заявляет: "Вы себя честно вели на допросе".

Эта "честность" до смертного часа угнетала Зускина. Годы владела им истязующая жажда другой, подлинной очной ставки с той, кого лубяньские "эзопы" именовали неким таинственным "лицом", — а была это брошенная в тюрьму жена Молотова, — Жемчужина, якобы утверждавшая, что Сталин ненавидит евреев и Михоэлс уничтожен по его приказу. Полина Жемчужина этого не говорила, она только обмолвилась в разговоре с Зускиным на похоронах Михоэлса, что Соломон Михайлович жертва преступления, а не несчастного случая.

За кулисами трехлетнего следствия по делу Еврейского Антифашистского Комитета (АЕК) действовал поэт Ицък Фефер, давний, воинственный антагонист Михоэлса, главный консультант и советчик всего злодейского следствия. Он знал характер каждого из арестованных и действовал почти безошибочно; мог не угадать поведения академика Лины Штерн; недооценить мужества доктора Шимелиовича, главврача Боткинской больницы; мог вдруг потеряться перед моральной цельностью и чистотой переводчика Тальми, но его, Фефера, не могла заставить врасплох вся брошенная в тюрьмы литературная и театральная братия. Перед ними он не оплошает, не окажется эдаким Гильденстерном или Розенкранцем, бездарным тупицей в схватке с Гамлетом.

"После этого, — заявил на суде Зускин, — я три с половиной года сижу в тюрьме, прошу, умоляю, чтобы мне дали очные ставки с членами президиума ЕАК. В течение трех с половиной лет я сижу в тюрьме, мне предъявлено страшное обвинение и не дают очных ставок, по которым я мог бы доказать свою невиновность..."

За ним не приходят. Его не зовут. Послушались палачи доброго совета: не избивают, не калечат, унижают Зускина изощренно, пытаются свести с ума. Кто-то внушил следователям, что сделать это нетрудно, еще чуть-чуть и странный оригинал, чудак лишится рассудка. Кажется, умри он, стоячее болото следствия не шелохнется. В допросных протоколах всех других обвиняемых, в материалах судебных заседаний даже проскальзывает снисходительное расположение к Зускину, и его сердце начинает биться учащенно: слы-

Пьеса "КОРОЛЬ И ШУТ" увидела свет в альманахе "Современная драматургия" (1998) с кратким предисловием Эдварда Радзинского.

"Забавный сюжет — король и шут", — писал он. "Жуткий сюжет — король и шут на плахе." 24-ю драму Шекспира пишет время бесстрашной рукой. "Вечное противостояние — комика и трагика, вечная любовь — комика и трагика, вечные театральные личины — шута и короля, вечные личины жизни — шута и короля. Вечное — "брат мой — враг мой". Только все это не вымысел — все они были и имели имена, которые тоже вечны. Все они — "участники грозного пира", раздавленные сапогами Воздья, великие люди. И оттого — жутко. И при этом — величественно и торжественно... Очередная "24-я драма Шекспира" — документальная драма уходящего столетия. Я берусь предсказать судьбу пьесы, — писал в заключение Э. Радзинский. — Думаю, она будет. И будет блестящей. Не знаю когда. Это существенно лишь для людей. Для истории литературы это неважно. Важно лишь одно — будет..."

Приведу еще три слова из письма ко мне (из Барселоны) моего друга, выдающегося литературоведа Ефима Эткинда, — взволнованную меня оценку "Короля и шута": "Пьеса поистине феноменальная".

Две эти цитаты исчерпали мои авторские амбиции и честолюбивые помыслы, в последние годы изрядно мною укрощенные. Никто ведь не мог знать, как эта пьеса рождалась, ее духовное назначение, даже длящееся ее безвестие, помогли мне, сделавшись немаловажным уроком жизни. Проведя годы в архивах, возродив в памяти образы великих, образы людей, вторгшихся из прошлого в сегодняшнюю жизнь, до полного ощущения реальности, я понял, что не смогу ограничиться книгой публицистики, и долго ломал себя, пытаясь выразить историю в привычном мне повествовательном жанре.

Пробовал.

Приходил в отчаяние.

Не получалось.

Редел, сжимался список, казалось, необходимейших персонажей, но материя жизни становилась только плотнее.

Однажды персонажей осталось только двое, Михоэлс и Зускин, и пришла спасительная мысль: если один из них убит — другой все же может вернуться на сценические подмостки, появиться, как явилась тень отца Гамлета или Мать из одноименной психологической драмы Карела Чапека.

Так возникла трагедия "Король и шут", пьеса для двоих, написанная быстро только потому, что она больше четверти века жила во мне.

Впервые в жизни я как драматург не стал стучаться в двери театров, искать чего-то за кулисами, опасаясь обидеть, унижить не себя, конечно, а тех, о ком написана пьеса, — Михоэлса и Зускина: они не поручали мне забот об их посмертной судьбе. Поэтому меня не опечалил, даже обрадовал, строгий диагноз Эдварда Радзинского, меня и сегодня не огорчают назначенные им дальние сроки.

Сегодня пьесу изредка играют два славных актера самарского драматического театра — Андрей Бердников и Олег Свиридов. Играют увлеченно, не щадя сил и таланта. Всякий раз я убеждаюсь, что психологические сложности этого материала одолеваются умными актерами, совсем не озабоченными портретным сходством, — они движутся к трагической развязке, насколько не обескуражены тем, что один из них злодейски убит в январе 1948 года, а другой еще годы томился в Лубянской одиночке. Все их противоречия, кажущиеся такими неодолимыми, словно бы заслоняющими от них мифоздание, преодолеваются рыцарской прямоотой и человечностью, недоступной их антагонистам.

Странной, а то и противоестественной может показаться борьба двух великих лицедеев, двух вечных братьев, Михоэлса и Зускина, поставленных не слепым случаем, а ложью и преступностью времени, на край пропасти. Им не уцелеть физически, они будут сброшены в пропасть, — тем важнее по великому счету Человечества их вознесение над миром зла.

Нам в этой пьесе ни разу не предлагается сказка, миф, прекраснодоушные обещания — к правде, к ее торжеству мы идем самым трудным, но и самым верным путем.

События пьесы — только зеркальное отражение этого житейского пути.



шите, как говорят обо мне! Почему меня не пересадят со страшной скамьи подсудимых на милосердную скамью свидетелей? И Зускин, внешне обретая твердость голоса, сам заговаривает о несправедливости, чинимой над ним. Он взрывается едва ли не гневно, в его тоне протест, такой диковинный на Лубянке:

"Я себя не признаю виновным ни в национализме, ни в шпионской деятельности!"

— Но 11 января 1949 года, — говорит главный судья, генерал Чепцов, — вы признали, что поддерживали связь с националистическим подпольем.

"Я отрицаю эти свои показания... Все мои показания ложные!" — спешит повторить Зускин; его тихий голос могли и не расслышать.

— Но вы утверждали, что, попав под влияние Михоэлса, встали на антисоветский, вражеский путь!

"Я это отрицаю категорически!"

Этот, заупрямившийся Зускин, не обещает судьям легкого разбира-

тельства. Или он и впрямь теряет рассудок, и дело обойдется вмешательством врача? Все чаще, все настойчивее возникает в судоводорении имя Соломона Михоэлса: испытанное средство, вали все на убитого пять лет тому назад "вожака", — это не без успеха предлагалось некоторым обвиняемым.

— Вы заявили, что считали и считаете Михоэлса националистом, — напоминает главный судья.

Зускин не дает ему договорить:

"Я отрицаю все показания, и сейчас, сейчас на суде говорю правду: я долго ждал этой возможности... Я с Михоэлсом никогда не разговаривал на такие темы... У Михоэлса жена русская, и у них одна комната. К ним всегда приходили русские родственники, а Михоэлс, как джентльмен, в присутствии русских не будет говорить по-еврейски. Может быть, "национализм" Михоэлса парил в облаках Еврейского Антифашистского Комитета, но в театре он ни разу не позволял себе этого... Мне жизнь не

нужна, — с пугающим спокойствием закончил это свое объяснение Зускин. — Для меня пребывание в тюрьме страшнее смерти. Я жизнью не дорожу".

Михоэлс убит 13 января 1948 года. Шли годы — весь 1948-й, 1949-й, 1950-й, 1951-й, 1952-й, — автомобильная ли катастрофа или удар топора, пора бы и этому преступлению отодвинуться на второй план в непрерывной черной череде убийств тех лет, все усиливавшегося политического террора и геноцида. Пора бы и потушить пугающим слухам, — ведь уже прихлопнуты все еврейские театры страны, еврейские редакции и издательства, все, без исключения культурные организации неотступно преследуемого Сталиным народом. Огромный архив газеты "Эйнекайт" вот-вот увезут на пустырь полуторки и сожгут, никому не нужны эти бумаги, едва ли клика Сталина позволит сохраниться тем, кто сможет прочесть тысячи рукописных страниц "квадратного" еврейского письма.

Все так: отчего же за тюремными стенами никак не утихнет кровавая молва о злобствующих еврейских "националистах", о сионистах, и более всего о Михоэлсе и Зускине? Так уж повелось в нашем обиталище: кто-то шепнет слово-пароль "Михоэлс", — жди отзыва — "Зускин". Раздастся пароль — "Зускин", через паузу непременно услышишь — "Михоэлс..." Воскликнет кто-то обрадованно — "Миха!" — жди непременно отзыва — "Зуска!"

В представлении современников два эти имени неразделимы. Два блистательных таланта. Два архитектора еврейского театра и всей еврейской культуры. Два великих лицедея, которых в увлеченности, порой уже при жизни называли гениями.

Единомысленники. Братья. Все так, все непринужденно и естествен-

но. Однако через всю жизнь и противостояние, спор порой подспудный, порой громогластный. Глаза — то любящие, заботливые, то воинственные и обиженные.

Даже на суде, на последнем трагическом суде, отвергая чрезмерность духовной подчиненности Михоэлсу, Зускин сетовал на то, как трудны и тяжелы для него бывают верги этой дружбы. "Когда задолго до войны, — вспоминал на суде Зускин, — я пришел в военкомат, меня принял военком, взял мой военный билет, прочел и говорит: Почему одна фамилия — Зускин? А где Михоэлс?" И в обвинительном заключении эти две фамилии вместе, а между ними кто в своих показаниях не говорил обо мне, о Зускине... Тут Маркин назвал меня теленком, а Фефер сказал, что я ребенок, а ведь мне 53 года."

На протяжении трех месяцев суда никто из подсудимых не выступил с обвинениями в адрес Зускина. Напротив, в прах рассыпались надуманные, незаслуживавшие серьезного разговора параграфы обвинительного заключения, в которых невнятно упоминалось имя Зускина. Стало ясно, что Зускин, в сущности, не имел отношения к деятельности президиума ЕАК; назначение его художественным руководителем ГОСЕТа после убийства Михоэлса, уже не играло никакой роли. По краткости времени и по тяжелой болезни, он не успел проявить себя в руководстве театром, брошенном кагебистами на порожек и разграбление. Известно, что 24 декабря 1948 года он был доставлен на Лубянку спать, — длился курс лечения сном. Новая, устрашающая реальность обрушилась на него: одиночка, тюремные стены, лживые, подготовленные уже признательные показания, протоколы допросов и очных ставок. Ицък Фефер истово каялся, открывая одно преступление за другим, но первое виноватое лицо, главный преступник и соавтор у него неизменно Соломон Михоэлс,

Зускин Вениамин